

Глава шестнадцатая

СОВЕТСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ РАССКАЗЫВАЮТ

Деревянные больничные бараки были почти похоронены под землей; над ней возвышались только крыши. Так строили из-за климата, что царил в районе Печоры, близ берегов Баренцева моря. Старожилы говорили «зеленым» новичкам с невеселой усмешкой: «Вы спрашиваете про климат? Климат чудесный. Зима длится девять месяцев, а потом лето — сколько угодно». А зимой температура доходит до шестидесяти градусов ниже нуля.

И все же трудно понять логику инженеров НКВД, строивших этот лагерь. Стены, зарытые в землю, сделаны из двух рядов досок, и промежуток между ними заполнен опилками, чтобы хоть как-то защитить строение от жестоких морозов. Но баню, предназначенную для больных, они построили на холме, более чем в километре от больницы. Больных водили в баню в одном белье, укутанных в тонкие одеяла. Новички недоумевали:

— Что, и зимой здесь так водят в баню?

— А как же? — отвечали старожилы. — Вы что, думали, вас повезут в баню на метро?

— Но как можно, — упорствовали новички, —

гонять больных в лютый мороз полуголыми, да еще назад после горячей бани? Ведь этак сразу подхватишь воспаление легких!

И тут следовал универсальный лагерный ответ на все вопросы: привыкнешь, а не привыкнешь — подохнешь.

Чтобы привыкнуть, нужно время, поэтому первая ночь в лагерном «лечебном заведении» стала для меня настоящим кошмаром. Эта ночь была не «белая» и не «черная»; это была «красная» ночь. На меня напали полчища клопов, стройными рядами выползшие из опилок. От них не было никакого спасения. Ответная атака не помогла. Грозный враг, сосущий мою кровь, только множился. Я пытался маневрировать, ложился ногами в изголовье и наоборот. Но маневры не подействовали. Всю ночь я не сомкнул глаз, как и остальные новички. Но старожилы спали сном праведников. Привыкли.

В конце концов привыкли и мы. Однако нас все время мучил вопрос: неужели нельзя вывести клопов? «Отчего же, — отвечали старожилы с философским спокойствием, — можно, если сжечь



барак». Постоянные обитатели лагерной больницы могли сосать нам кровь сколько угодно: на их стороне был закон об охране государственного имущества.

Наутро я познакомился с несколькими больными. Один из них изумил меня вопросом:

— Вы председатель Бейтара в Польше?

— Да,— ответил я,— как вы меня узнали?

— Я тоже бейтаровец,— взволнованно проговорил он,— моя фамилия Мармельштейн. Я прочитал ваше имя на рюкзаке, но не был уверен, что это именно вы, а не ваш однофамилец. Теперь я уверен. Ах, какое горе!

В его глазах блестели слезы. Но он быстро овладел собой и обрадовался, что встретил меня. С тех пор нам вместе довелось побывать во многих местах. И всегда он поддерживал меня больше, чем я его.

Другие заключенные, с которыми я познакомился, были советскими гражданами. Прошло несколько дней, и мы привыкли друг к другу, между нами возникло доверие, обусловленное общностью судьбы. И тогда они смогли поведать мне свои истории — как говорят русские, излить душу передо мной. Среди них были «врач, отправляющий души пациентов», «шпионка», «промышленный диверсант», «сельский вредитель» и даже замредактора газеты «Правда». Я перескажу здесь то, что услышал от них.

Советский врач

в «любовном треугольнике»

— Я был счастливым человеком,— начал врач,— и мне до сих пор кажется, что все, что со

мною приключилось,— кошмарный сон. Я жил в Москве, работал хирургом. Любил свою работу, быстро продвигался по службе. С женой я познакомился еще студентом. Нас связывала чистая юношеская любовь. Мы были счастливы вместе, у нас родились двое детей. Не проходило и дня, чтобы я не благодарил Бога за все, что он мне дал. И вдруг все рухнуло. Моя жена полюбила другого. Он был офицером НКВД. Жена потребовала, чтобы мы вместе пошли в загс и развелись по обоюдному согласию. Я не хотел. Я ее любил, а кроме того, тревожился за детей. Я надеялся, что это не больше чем мимолетный каприз. Ведь мы любили друг друга с юности. Но жена настаивала. В прежние времена она, наверное, просто ушла бы от меня к своему любовнику. Но теперь, в советские времена, так поступать нельзя. Развод — дело нелегкое, но уход из семьи — это контрреволюционный поступок, как гласит указ Президиума Верховного Совета. Власти утверждают, что те, кто оставил семью, сделали это по заданию особого контрреволюционного центра, чтобы создать недовольствие в массах советских трудящихся. Поэтому жена не ушла из дому, но продолжала настаивать на разводе. А я все надеялся, что она одумается.

И вот однажды меня арестовали. Следователь требовал, чтобы я признался в совершенных мною тяжких преступлениях против советской власти. Если признаешься, сказал он, наказание будет мягче. Я не имел понятия, в чем меня заподозрили. Я говорил ему, что всю жизнь занимался только медициной и никогда не имел дел с политикой. Следователь потребовал, чтобы я пре-



кратил прикидываться дурачком. Ему все равно все известно. Ему известно, что я проводил среди больных религиозную пропаганду, что прежде чем приступить к операции, я осенял больного крестным знаменем. «Теперь признаешься?» — настаивал он. Я ответил, что все это ложь. Он стал материться и кричать: «Нас не обманешь, ты сам рассказывал это своей жене, а теперь отрицаешь?»

Следователь устроил мне очную ставку с женой. Она подтвердила в моем присутствии, что я крестил больных и что сам рассказывал ей об этом. Мне дали десять лет за контрреволюционную деятельность. Разумеется, после моего ареста жена с легкостью получила развод. Это был ее патриотический долг — уйти от такого врага народа, как я. Несомненно, ее еще за это похвалили. Теперь я здесь, а она — там, с ним. Я не знаю, что с детьми. Возможно, они остались с женой, и они оба — она и ее новый муж — рассказывают им, что их отец — предатель, враг народа. Я молюсь за них и за то, чтобы Бог простил жену. Я действительно верю в Бога, и никто не отнимет у меня моей веры. Но я не осенял больных знаменем. Жена оклеветала меня. Да простит ей Господь...

П. Ш.

— Мой муж,— рассказала женщина, похожая на гречанку,— был директором крупного завода в Москве. Он был намного старше меня. Я его вторая жена. Он несказанно любил меня и всячески старался усладить мою жизнь. Видите эту шубу? — обратилась она к Каролю, который слушал вместе со мной.— Теперь она уже потре-

панная. Не удивительно, ведь я укрывалась ею в тюрьме и в поезде. Но когда муж купил мне ее, она была совсем новая. У нас не так-то просто достать шубу, но муж достал. У него была высокая зарплата, и к тому же он часто получал премии, когда завод перевыполнял план. Он приложил немало усилий и подарил мне шубу на годовщину нашей свадьбы. Это был сюрприз. Как я радовалась ей!

И вдруг все рухнуло. Мужа арестовали. Я не знала за что. Муж относился ко мне как к ребенку, никогда не рассказывал о неприятностях на работе. Я бегала от чиновника к чиновнику и все спрашивала: за что он арестован? Но никто мне не говорил. Только твердили: «Арестован — значит, виноват. Если выяснится, что он невиновен, его отпустят. У нас просто так не арестовывают».

Однажды меня вызвали в НКВД. Я думала, что мне сообщат что-нибудь об аресте мужа. И вправду, следователь сказал:

— Нам стало известно, что ваш муж состоял на службе британской разведки, и вы должны сообщить нам все, что знаете о его шпионской деятельности.

Я совершенно потеряла голову и закричала:

— Как вы можете говорить такое о моем муже? Он отвечал за один из крупнейших заводов Москвы, он всеми силами служил народу, его наградили многими медалями, и он — шпион?!

— Успокойтесь,— ответил следователь,— нам известно все о вашем муже. Он маскировался в течение многих лет, но мы все раскрыли. Мы все знаем о его преступной деятельности. Вы его жена. Он вас любил. Он, несомненно, посвящал



вас в подробности. Ваш долг, как честной советской гражданки, рассказать нам всю правду.

— Но я убеждена, что он невиновен! — настаивала я. — Мне нечего вам рассказывать.

— Ну, раз так, — отозвался следователь, — значит, вы были пособницей вашего мужа. В тюрьме у вас будет время подумать, не лучше ли вам рассказать всю правду.

Меня арестовали. Много недель я просидела в камере, забытая всеми. Я требовала, чтобы меня вызвали на следствие. Но меня лишь перевели в другую камеру и вновь оставили одну на несколько недель. Наконец меня вызвали на следствие. У дверей соседней камеры мне показалось, что я слышу голос мужа. Это было невыносимо. Следователь спросил, готова ли я теперь рассказать правду. Я снова ответила, что муж невиновен и я тоже ни в чем не виновата. Я молила его, чтобы он отпустил нас и не разрушал нам жизнь.

— Но ваш муж сознался, — сказал следователь, — а вы все упрямитесь.

— В чем сознался? — испугалась я.

— Он сознался во многих преступлениях, но еще не во всех. Я уверен, что вам известны все его деяния. Но вы не хотите нам рассказать. Зачем вы его выгораживаете? Где же ваша верность Советской родине, которая сделала для вас так много хорошего? Расскажите, расскажите нам. Ваш муж, между прочим, рассказал все о вас.

— Что он рассказал обо мне?

— Правда ли, что в последнее время вы начали изучать английский язык?

— Да, и что в этом плохого?

— Что в этом плохого?! — заорал следова-

тель. — А известно ли вам, что ваша учительница — профессиональная британская шпионка? И она уже получила то, что ей причитается. Вы изучали английский, чтобы быть связной между вашим мужем и британским посольством. Вы все — члены одного шпионского центра, но мы уничтожим это ваше осиное гнездо!

Мне показалось, что пол уходит у меня из-под ног. Голову заволокло туманом. Что он говорит? Какой шпионский центр? Что за связная с британским посольством? Какая из меня шпионка?

— Это ошибка, гражданин следователь, — сказала я, — ужасная ошибка. Моя учительница — совершенно безобидная старая женщина. Она, правда, немного старомодна, но верна и преданна. Она давала уроки английского высокопоставленным советским чиновникам. Мой муж был ее добрым знакомым. Она часто приходила к нам в гости, и муж как-то раз шутливо заметил, что, если бы я брала уроки английского, я бы не так скучала, пока он не вернется с завода. Так я надумала изучать английский. Я успела взять у нее всего несколько уроков. Потом мужа арестовали, и больше я ее не видела. Клянусь вам, гражданин следователь, что ничего больше не стояло за этими уроками!

Следователь лишь рассмеялся, услышав мою клятву.

— Нам все известно, — твердил он. — А теперь идите обратно в камеру, посидите, подумайте. Может, в следующий раз расскажете нам правду.

Когда меня проводили мимо соседней камеры, мне вновь показалось, что я слышу голос



мужа. Всю ночь я не сомкнула глаз. Мне чудилось, что муж зовет меня по имени, стонет, просит о помощи. Он был намного старше меня. Он был мне как отец, и вот он просил меня о помощи. Чем я могла ему помочь? Я до сих пор не знаю, в самом ли деле он сидел в соседней камере или мне только показалось, что я слышу его стоны.

И вот однажды следователь вызвал меня и сообщил мне, что муж умер. Я плакала, как маленькая девочка. Мне было нестерпимо жалко этого доброго пожилого человека, который так страдал. Следователь дал мне немного поплакать, но не слишком долго. Он пытался успокоить меня, говоря, что муж был шпион и враг народа, его все равно бы ждал расстрел. «А теперь,— сказал он,— вы можете все рассказать. Расскажите мне, какие функции вы выполняли в вашем шпионском центре?»

Следствие продолжалось еще долго. Я сказала следователю, что требую, чтобы мне позволили предстать перед судом, и я докажу, что невиновна.

— Я верю,— сказала я ему,— в советское правосудие.

— Для этого,— ответил следователь,— суд не нужен. Улики говорят сами за себя. Вас будет судить Особое совещание.

Особое совещание присудило меня к пяти годам заключения только за то, что я взяла несколько уроков английского языка, и за то, что была женой человека, которого обвинили в шпионаже и который умер в тюрьме. Будь я в самом деле шпионка, я бы обрадовалась. Пять лет за шпионаж — это очень мало. Я ведь П. Ш.

— Что такое П. Ш.? — спросил один из нас.

— Неужели вы не знаете? Это статья о «подозрении в шпионаже». Все же и НКВД не лишен справедливости. Меня судили не как шпионку, а только как подозреваемую. Наверное, они учли то смягчающее обстоятельство, что я не успела выучить английский как следует...

Душу лагерника кто поймет?

— По специальности я инженер-машиностроитель,— начал свой рассказ «диверсант». — Я работал на заводе на разных руководящих должностях. Дослужился до поста директора. Был членом партии. Имел все, что душе угодно. Получал награды и премии. В 1937 меня арестовали. Обвинили в диверсии, поскольку завод не выполнял план. Это правда, но чем я виноват? Мне не поставляли вовремя сырья, запчасти для станков достать было невозможно. Никакие увещания не действовали. Один инженер, мой коллега, подтвердил на очной ставке, что предупреждал меня о возможной поломке станков, а я ответил, что, мол, волноваться нечего, заменим старые детали новыми и все будет в порядке. Это был, по словам следователя, злостный саботаж. Письма, в которых я просил обеспечить нас запчастями, были, по словам следователя, написаны для маскировки моей диверсионной деятельности. Мне дали десять лет. В этом лагере я отбываю уже четвертый год.

— Ах,— вздохнул «диверсант»,— что вы, ноички, знаете о Севере? Что вы знаете о лагере? Здесь, в больнице, не так уж плохо. У вас есть кровать с простыней. Можете укрыться одеялом.



Ладно, клопы, к ним можно привыкнуть. Но лежать на кровати днем вам разрешают? Разрешают. Кашу приносят в постель? Приносят. Чего еще может желать человек? Но когда окажетесь в лагере, когда каждое утро на заре будете выходить на производство, то есть на стройку, вот тогда узнаете, что такое лагерная жизнь.

Теперь лето, легкая пора. Верно? Но когда выйдете на работу, поймете, что и летом Север не шутки шутит. Есть тут, на Севере, мошки, такие крохотные, что их и глазом не видать. Они, проклятые, любят лагерника, очень его любят, гады. Садятся на лицо, на руки, забираются в уши, в ноздри, под кожу. Попробуйте-ка их прогнать. Их миллионы, миллиарды. И они кусают, проклятые, ох как кусают! Нет, это не комары. Комар — насекомое славное. А эта северная мошкара — она сторожит заключенного надежнее любых охранников с автоматами. Как? А вот так. Из нашего лагеря сбежал один заключенный. Ему стреляли вслед, устроили погоню, натравливали собак, и все напрасно. Он как сквозь землю провалился. Стрелок, который его охранял, уже готовился занять его место в лагере. Через три дня беглец вернулся сам. Его было не узнать. Хотели отправить его в карцер. Но он поклялся, что больше никогда в жизни не устроит побег. Северная мошкара хорошенько его проучила. И вам советую остерегаться мошек. Запомните: перед выходом на работу обязательно покрывайте чем-нибудь руки и лицо. А то несладко вам придется. И не пытайтесь бежать. Сами же вернетесь.

— Вообще-то,— продолжал он наставлять новичков,— вы прибыли на все готовое. Вот боль-

ница. Вокруг — лагерь. В одном из них будете работать. Получите нары в бараке. Конечно, там вы затоскуете по тюрьме или по больнице, как я тоскую по выпавшим зубам. Но все же будет у вас крыша над головой. Когда меня сюда привезли, не было ни лагеря, ни барак. Это было зимой. Морозы доходили до сорока, пятидесяти, а случалось, и до шестидесяти градусов. Зимой день — не день, летом ночь — не ночь. Зимой день длится считанные часы, остальное время — непроглядная тьма. Ну и что? Работать можно и ночью. Белый снег светит.

Мы спали в снегу. Единственная палатка предназначалась для охранников. Первым делом нам приказали обнести территорию будущего лагеря колючей проволокой. Потом мы возвели четыре сторожевые вышки. Только после того, как мы сами себя заключили в ограду из колючей проволоки и сами себе обеспечили охрану на сторожевых вышках, нам разрешили приступить к строительству барак. Лагерь строится не в один день. После двенадцати, четырнадцати, шестнадцати часов работы мы должны были зарываться глубоко в снег. Так мы и спали в этих белоснежных постелях. Не всякий просыпался наутро. Каждый день кого-нибудь находили беспробудно спящим. Охранники кричали ему: «Вставай, на работу!» Они толкали его, матерились, пинали ногами, но напрасно. Постепенно число заключенных, навек уснувших в снегу, стало превышать число оставшихся в живых. Но работа не прекращалась. Вместо уснувших привозили новых.

Что мы строили? Прокладывали железную



дорогу, по которой вы доехали до Кожвы. Вы будете тянуть ее дальше. Вас здорово трясло, когда вы по ней ехали? Кривовата она немного, сука. Так уж строили. Торопились... Но все равно план не выполнили. Однажды, когда я уже был про-рабом, приехал большой начальник из Москвы. Он орал: «Партия и правительство поставили перед нами задачу, и мы обязаны выполнить ее к установленному сроку! Дорога будет открыта, даже если под каждый метр рельсов придется положить человека!» Речь шла о дороге длиной в семьсот километров. Посчитайте, сколько человек должно было лечь под рельсы, чтобы работа была выполнена к сроку, установленному партией и правительством. Не знаю, лежат ли под рельсами семьсот тысяч человек, но сотни тысяч, несомненно, нашли здесь могилу. К сроку мы не управились, но дорогу все же открыли. Правда, она немного кривовата...

— А про цингу слышали? — инженер открыл рот и продемонстрировал нам белые десны, из которых торчало только два зуба.— И эти скоро выпадут. Вот она, цинга. На Севере от нее не спасешься. У вас тоже выпадут зубы. Но не думайте, что цинга этим ограничивается. Все тело покрывается язвами, из них текут кровь и гной, гной и кровь. Вот! — он засучил кальсоны, и мы увидели, что его ноги сплошь покрыты большими черными пятнами.— Это еще ничего, я почти вылечился, но в лагере раны появятся снова, и из них будут сочиться гной и кровь. На Севере все заключенные болеют цингой. Она и за болезнь не считается. Цинготники работают как все.

Будет у вас и понос. Но имейте в виду, что

обычный понос за болезнь не считается. Только из-за хронического или кровавого поноса дают освобождение от работы, а если повезет, то направляют и в больницу. И не думайте, что достаточно только заявить, что у вас понос. Кто-нибудь обязательно проверит как часто, а если заявите, что понос с кровью, то непременно пойдет с вами и убедится, действительно ли с кровью. Да, у нас и на понос установлена норма, и если не выполнишь ее, отправишься на работу.

А про этап слышали? Если работа в лагере закончится, вас переведут в другое место. Могут перевести и до окончания работы. Это называют этапом. На новом месте может оказаться готовый лагерь, а может, и открытое поле. Как повезет! Но важно не только новое место, но и сама дорога. Этапы устраивают зимой и летом, по суше и по воде, на транспорте и пешком. Если попадете когда-нибудь на этап пароходом, узнаете, что это такое. Помню этап, который вышел из нашего лагеря. Заключенных посадили на грузовики и повезли по замерзшей реке. Лед — отличная дорога. Но стоял суровый мороз, и моторы заглохли. Водители — тоже заключенные — пытались их починить, но все зря. Руки кочнели на морозе, и работать было невозможно. Из того этапа в лагерь вернулись только стрелки. Начальник, правда, был наказан за «растрату рабочей силы», но саму рабочую силу, которая заживо вмерзла в лед Печоры, уже не оживить.

А про саморубов слышали? Да-да, это люди, что отрубают себе палец, а то и два, а то и всю ступню. Как они это делают? Да по-разному. Одни кладут ногу на пень, замахиваются топо-



ром — раз, и пальца нет! Другие — у кого нет топора, или кто не любит крови — используют иные методы. Мороз для них топор. Они мочат палец в воде и держат его несколько минут на шестидесятиградусном морозе. Палец тут же белеет. Обморожение третьей степени. Больница. Ампутация. Инвалидность.

Зачем они это делают? Как может человек самого себя калечить? Поживете в лагере и поймете. Каждое утро на заре раздается гонг — удар о рельсу. Каждое утро вас тянут за ноги с криками: «Эй ты, чего разоспался, давай вставай! На работу!» Вы встаете. В том же тряпье, в каком спали, выходите во двор. Вас пересчитывают. Один раз, второй, третий, полчаса, час. Потом получаете пайку хлеба. Съедаете его тут же, на месте, до последней крошки. Потом вас ведут на работу. Поздно вечером возвращаетесь в барак, валитесь на нары. Ох, кости, кости! Вытираете гной, сочащийся из цинготных ран. Засыпаете, спите как мертвые. А на завтра, в четыре утра, снова гонг, снова: «Вставай! На работу!» И так каждый день. Поживете в лагере и поймете, как человек сам захочет стать калекой, чтобы не выходить на производство. Не вставать, немного полежать... Поживете в лагере и поймете, какое счастье попасть в больницу или в сангородок — отдельный лагерь для инвалидов. Да, так доходит лагерник до членовредительства. Вы увидите в лагере людей без пальцев на руках и на ногах, без ушей, даже без носа — и это не саморубы; их органы отмерзли, обморозились во время работы. Это в лагере обычное дело. Но когда их везли в больницу на ампутацию — не

было во всем лагере людей счастливее их. Высшее счастье лагерника — заболеть, попасть в больницу.

Власти карают саморубов. Прибавляют им сроки. Ведь это «растрата рабочей силы». Но какое им дело? Они все равно не надеются выйти из лагеря. Лучше быть калекой, считают они, но жить по-человечески.

— Такова судьба лагерника. Поймет ли кто его душу? — сказал инженер.

Я начал понимать. И проклинал парикмахеров из Лукишек.

Лагерник — и счастливый!

— Вот ты спрашиваешь, за что меня арестовали,— произнес старый колхозник, лежащий на верхних нарах.— А за вредительство. Я был, конечно, членом колхоза. Но меня обвинили в том, что не забочусь о нуждах колхоза и работаю только на себя. Ну, ты знаешь, что советская власть дала колхознику собственный клочок земли, который он может обрабатывать за свой счет. Урожай от этой земли колхозник имеет право продать на рынке. Все это, конечно, хорошо. Но меня обвинили в том, что я слишком много работаю на своем огороде и скоро стану кулаком. Ну, какой я кулак? Скажи пожалуйста, какой я кулак, если в доме у меня есть нечего? Но они сказали, что я — вредитель, дали десять лет. И вот я здесь. Я на советскую власть не жалею, упаси Бог. Да, не жалею, мне здесь хорошо. Дома у меня не было такой удобной, чистой постели. А еда? Лучше, чем была у меня дома, да еще приносят прямо в постель. Здесь лучше, чем дома. Я на советскую



власть не жалею, упаси Бог, только бы меня здесь оставили. Здесь хорошо.

Рассказ замредактора «Правды»

Поначалу Гарин был настроен враждебно. О себе не говорил, мы беседовали в основном о войне, об антисемитизме, о сионизме и коммунизме. Иногда мне казалось, что я слышу голос следователя из Лукишек. Сионизм и антисемитизм, объяснял мне Гарин, это две стороны одной медали. Антисемитизм — древний расистский националистический предрассудок, сионизм — то же самое. Сионисты, говорил Гарин, в сущности, повторяют и подтверждают доводы антисемитов. Антисемиты кричат: «Евреи — в Палестину!», а сионисты им вторят. В том, что «сионист — агент империализма», Гарин ни секунды не сомневался. Наши беседы превращались в отчаянные споры.

Однажды Гарин отчитал меня за «постыдное унижение» перед антисемитами. Он слышал, как в разговоре с заключенными-поляками я, как и они, пользуюсь словом «жид». «Жид», сказал Гарин, это позорное, унижительное слово, которое употребляют только антисемиты, и в Советском Союзе оно запрещено. И вот я, сионист, якобы гордящийся своим еврейством, не только позволяю полякам говорить «жид», «жидовский», но и сам в разговоре с ними без зазрения совести произношу это антисемитское ругательство. Разве это не доказательство, с воодушевлением утверждал Гарин, что сионизм и антисемитизм — союзники?

Я, как мог, объяснил Гарину, что антисемит

антисемиту — рознь. Если в России слово «жид» звучит оскорбительно, то в Польше оно является обычным, и польские антисемиты, желая выказать свое презрение, говорят «еврей». Гарин выслушал меня, но не согласился.

— Это талмудизм,— сказал он.— Слово «жид» является антисемитским на всех языках, и вы разрешаете его употреблять и употребляют сами только из-за общности целей антисемитизма и сионизма.

Гарин вел отчаянные споры и с инженером-«диверсантом» — правда, на другие темы. Этот тертый лагерник заявил, что пусть немцы дойдут хоть до Печоры, ему терять нечего. Гарин набросился на него со всей силой своего красноречия.

— Вот смотри,— сказал он.— Я тоже заключенный, тоже страдаю. Но мои личные страдания не лишают меня рассудка. Я всей душой желаю, чтобы Советская Армия победила. Фашизм представляет смертельную опасность для человечества. Если падет Советский Союз, будут уничтожены все достижения революции. Ты забыл все хорошее, что сделала для тебя Родина, и теперь, в минуту опасности, готов ей изменить?!

Инженер не захотел продолжать разговор. Видно, испугался. Хотя в лагере заключенные не остерегаются в разговорах — чем еще их можно наказать? — но и здесь не мешает помнить золотое правило: «Язык мой — враг мой». Инженер сказал, что Гарин его неправильно понял, и чуть слышно пробормотал: «Змея, паразит», — два слова, которые часто услышишь не только от лагерника, но и от любого советского человека.

Как-то в больницу прибыла инспекционная



комиссия. Инженер рассказал, что неожиданный визит вызван тем, что некто направил куда следует анонимку на женщину-врача, ответственную за наш барак. Наша врач была заключенная, пожилая женщина-эстонка, высокая, отмеченная северной красотой. Больные поговаривали, что она благоволит к эстонцам и держит их в больнице якобы для обследования.

Вместе с комиссией прибыл начальник лагеря. Он обратился к больным с вопросом, готовы ли они добровольно выйти на работу, так как на строительстве острая нехватка рабочих. Ответом было глухое молчание. Начальник ушел. Мы, новички, не могли скрыть удивления этим странным призывом. «Если мы больны, как можно призывать нас выйти на работу?» — недоумевали мы. Инженер засмеялся, потом выругался. «Еще увидите, чем это кончится», — сказал он.

А на следующий день Гарин раскрыл передо мной душу и рассказал всю историю своей жизни до того, как попал на Печору.

— Вы не думайте, Менахем Вольфович, — начал он, — что только с вами я спорил о социализме и сионизме. Вы напомнили мне дни моей юности в Одессе. Как я спорил тогда с сионистами! Знаете, сколько мне было лет, когда я вступил в большевистскую партию и начал бороться за революцию? Всего лишь семнадцать!

В Гражданскую войну я был в Красной гвардии, участвовал во многих боях с белыми. Побывал в плену. Белые меня били, пытали, но не сумели вытянуть ни слова. Они угрожали, что застрелят меня как собаку, и, несомненно, исполнили бы эту угрозу, если бы им не пришлось удирать

в панике. После войны я занимал высокие посты в компартии Украины. Был молод, много работал, силы и душу отдавал партии. Что это было за время! Я работал в партии и учился в университете. Потом переехал в Харьков, позже — в Киев. Несколько лет проработал в секретариате компартии Украины, был назначен на пост Генерального секретаря ЦК КП Украины. С этой должности меня перевели еще выше: я переехал в Москву и стал замредактора газеты «Правда».

В 1937 году, когда все они с ума сошли, была арестована моя жена. Я вам ничего еще не рассказывал о своей жене? Мы познакомились в университете. Она тоже была членом партии, очень активным. Она нееврейка, но какое это имеет значение? Мы жили дружно, у нас родились сын и дочь. Жена помогала мне, я помогал ей. Она занималась наукой, и очень успешно. Преподавала в университете, потом в Институте красной профессуры. Это особое учебное заведение для будущих университетских профессоров. Жена добилась больших успехов — стала профессором. В 1937 году ее неожиданно арестовали.

Я не знал, что делать. Надеялся, что жену вскоре освободят. Ведь она была таким преданным членом партии! Меня не трогали, я продолжал работать в «Правде». Однажды меня пригласили в Наркомат внутренних дел. Я ожидал ареста, но ошибся. Офицер сказал, что ему поручено немедленно доставить меня в кремлевскую больницу, там я встречу с женой. Я спросил, что случилось. Он ответил, что ему ничего не известно. Он должен отвезти меня в Кремль для встречи с женой.



Жена выглядела очень плохо, но улыбалась и сияла от счастья. Она рассказала, что следователь обвинил ее в троцкизме и требовал признания вины. Жена ни в чем не призналась. Она никогда не была троцкисткой. Следователь угрожал, что ее сгноят в тюрьме. Жена впала в отчаянье и решила покончить с собой, но прежде чем совершить попытку самоубийства, написала письмо Сталину, в котором просила его об освобождении и возвращении партбилета, поскольку она всегда была и остается преданной коммунисткой.

Письмо — бывают же чудеса! — попало прямо к Сталину. Тогда многие слали письма Калинин, Сталину, Молотову, Орджоникидзе, Ворошилову, но чаще всего они оставались без ответа. Письмо моей жены дошло до адресата. Сталин распорядился, чтобы ее перевели из тюремной больницы в кремлевскую. Лучшие врачи спасли ей жизнь. Сталин приказал вернуть ей партбилет. Прошло несколько дней. Она терпеливо ждала. Из Центрального Комитета поступил запрос, получила ли она билет. Жена ответила отрицательно. На завтра к ней явился секретарь орготдела, извинился и вручил партийный билет «по личному распоряжению товарища Сталина».

Вы не можете себе представить, Менахем Вольфович, как счастливы мы были в те дни. Жену арестовали, обвинили в троцкизме — весь наш мир чуть было не рухнул, но вот солнце вновь засияло для нас. Сталин лично распорядился о полной реабилитации моей жены. Можно без преувеличения сказать, что это были самые счастливые дни в нашей жизни.

Жена выписалась из больницы и вернулась к преподаванию. Я работал в газете. Будущее казалось стабильным и безоблачным. Кто посмеет тронуть жену после всего, что случилось? Но прошло всего несколько месяцев, и ее снова арестовали. Невероятно, но факт: ее арестовали вторично, хотя первый приказ об аресте был отменен самим Сталиным. Это свидетельствует о коренном переломе в организации власти в Советском Союзе — переломе, о котором известно только советским гражданам. За границей думают, наверно, что у нас партия до сих пор находится у власти. Так оно и было при Ленине и в первые годы после его смерти. Тогда у коммуниста можно было отобрать партбилет только по решению суда. Даже находясь под арестом, коммунист не терял своих прав. Теперь власть перешла от партии к НКВД. Сразу после ареста у коммуниста отнимают партбилет и лишают его всех прав. Партия потеряла власть в Советском Союзе: НКВД заправляет всем, партией в том числе. Так вот, НКВД снова арестовал мою жену, и, конечно, ее письма больше не попадали к Сталину. А я — чем я мог ей помочь?

Некоторое время спустя взяли и меня. Следователь требовал, чтобы я рассказал ему о своих связях с троцкистским центром. Это было ужасное, беспочвенное обвинение.

— Вчера, — сказал я следователю, — за день до ареста, в «Правде» была опубликована моя статья «Полным шагом назад к меньшевизму». В этой статье я показал, что истинный смысл троцкизма заключается в возврате к меньшевизму. И вот сегодня вы обвиняете меня в связях



с троцкистским центром? — спросил я уверенным тоном.

Следователь рассмеялся:

— Умным хотите показаться, а, Гарин? Для нас нет умных. Нам известно все. Да, мы знаем о вашей вчерашней статье в «Правде» и о всех ваших антитроцкистских статьях. Но кого вы хотите обмануть? Нас? Все эти статьи написаны по заданию троцкистского центра, чтобы суметь лучше замаскироваться в партии и продолжать без помех свою преступную деятельность!

Эти фантастические обвинения не имели ничего общего с действительностью. Я говорю это не представителю советской власти, а вам, Менахем Вольфович, в частной беседе на берегу Печоры. Будь я троцкистом, я не стал бы этого отрицать в беседе с вами. Но я говорю правду. Не было у меня никаких связей с троцкистским центром, и своими статьями я отстаивал Центральный Комитет. Верно, что в двадцатых годах, еще до смерти Ленина, я склонялся к линии Троцкого. Тогда Ленин и Троцкий вели принципиальный спор внутри партии. Спор был публичный, открытый. Ленин однажды даже грозился уйти из-за слишком резкого тона статей Троцкого. Тогда в партии была еще внутренняя демократия. Никто не боялся высказать мнение в пользу Троцкого или Ленина. Почти все студенты поддерживали Троцкого. Это хорошо известно. Многие из моих сокурсников, склонявшихся тогда к идеям Троцкого, сегодня все еще работают в ЦК ВКП. Но после университета я не имел никакого отношения ни к идеям Троцкого, ни к его последователям. Наоборот, я всеми силами боролся с ними.

Но кого интересовали мои доказательства? Следователи (у меня было много следователей) требовали, чтобы я рассказал о несуществующих связях и признался в несовершенных преступлениях. Знаете, Менахем Вольфович, сколько времени длилось мое следствие? Считайте сами. Меня арестовали в 1937 году, а из Томска я уехал всего три месяца назад, получив извещение о том, что Особая комиссия приговорила меня к восьми годам. Почти четыре года шло следствие. Большую часть времени я провел в томской тюрьме, в Сибири. Но до прибытия в Томск меня переводили из одной тюрьмы в другую. Я сидел вместе с крупнейшими руководителями партии, с лучшими военачальниками армии, с заслуженными большевиками, благодаря которым пролетариат вышел на баррикады и победил в Гражданской войне. Я видел и сам испытал много ужасного.

Не думайте, Менахем Вольфович, что среди арестованных в те дни не было настоящих врагов. Еще как были. С некоторыми из них мне довелось встретиться. Они шли на допросы беззаботно и возвращались довольные собой и следователем. В камере они открыто занимались враждебной агитацией. Они говорили: «Да, мы называем имена, мы считаем, что так и надо. Пусть и другие посидят. Чем больше партийцев попадет в тюрьму, тем легче будет победить партию. Чем больше назовем имен, тем лучше для нас».

Я убежден, Менахем Вольфович, что тысячи людей, верных коммунистов, погибли по навету таких сознательных вредителей, вовлекших ни в чем не повинных людей в этот водоворот. А следователи, знай, требовали одного: «Давай по-



казания! Признайся, расскажи о связях, назови имена. Кто еще был троцкистом? Кто еще выступал против Центрального Комитета?»

Возможно, эта целенаправленная диверсия привела в конечном итоге к ликвидации и самих следователей. Говорю вам, Менахем Вольфович: в том году, в 1937-м, они просто с ума посходили. Вот, например, арестованных допрашивал очень жестокий следователь. Требуя полного признания, он избивал арестованных, бранил их последними словами, но буквально на завтра мог и сам оказаться в камере в качестве арестованного. Теперь и он возвращался с допросов с кровоподтеками, и от него требовали, чтобы он признался в связях с троцкистским центром, чтобы заявил, что вся его прежняя борьба с троцкистами была маскировкой. Иногда требовали признать, что по поручению диверсионного центра он арестовал многих преданных и верных членов партии, чтобы подорвать и ослабить партию. Проходит совсем немного времени, и в камеру попадает и следователь того следователя. Теперь от него требуют признания в тех же преступлениях, в которых он обвинял свою жертву. Говорю вам, могло показаться, что мы живем в сумасшедшем доме. И мы каждый день задавались вопросом: «Как далеко все пойдет? Когда кончится это грандиозное сумасшествие?»

Четыре года меня переводили от одного следователя к другому. Самым страшным был следователь томской тюрьмы, который славился особой жестокостью. Ему поручали самых «трудных» заключенных. Он специализировался на «ломке упрямец» и открыто хвастал, что ни один за-

ключенный не устоял еще перед его «методом». Я тогда был уже болен, дважды пытался покончить с собой, вскрыв вены. Но у нас заключенному не дадут так просто умереть. Оба раза меня «засекли» прежде, чем из вен вытекло достаточно крови. В результате я заболел тяжелым сердечным заболеванием, у меня постоянно была высокая температура.

В таком состоянии я поступил к тому следователю. Он не «беседовал» со мной, как другие. Спросил, готов ли я дать показания, и, услышав, что я сказал все и добавить ничего не могу, схватил ножку стула и принялся изо всех сил бить меня по голове, по плечам, по всему телу. Удары он сопровождал ритмичными выкриками: «Дашь показания или нет? Дашь показания или нет?» Инстинктивно я прикрыл голову руками, но вдруг почувствовал боль в сердце. Я закрыл руками грудь и умолял следователя не бить по сердцу, но он не обратил на это никакого внимания и продолжал бить по сердцу. После той ночи я снова пытался покончить с собой, но и на этот раз безуспешно. И вот я здесь, Менахем Вольфович, на берегу Печоры. Суда не было. После четырех лет следствия мне сообщили, что я приговорен в административном порядке к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Завтра, Менахем Вольфович, на пару выйдем на работу.

...В тот день врач зачитала список больных, которых решено отправить в лагерь. Мы с Гариным были в списке. Врач сказала Гарину, что она требовала оставить его в больнице, так как у него большое сердце и постоянно повышенная темпе-



ратура, но члены комиссии не согласились. «Кого вы держите в больнице? — спросил ее начальник лагеря.— Вы отдаете себе отчет, какую ответственность берете на себя?»

В деле Гарина были записаны четыре буквы:
К.Р.Т.Д.

Это означает: контрреволюционная троцкистская деятельность. Преступление, страшнее которого в Советском Союзе нет.

Когда в тот же день мы с Гариным вышли

во двор, возле нас остановился рослый урка, усмехнулся и пробормотал себе под нос:

— Ой, жида, жида, что с вами будет? Гитлер вас бьет, здесь вас держат в лагерях. Жаль мне вас, жида, всюду вас бьют, что с вами будет, жида, что с вами будет?

Бывший заместитель редактора газеты «Правда», услышав слово «жида», низко опустил голову.

Тогда-то и поведал он мне историю своей жизни.